

Марианна Ионовна

МЭРИЛИН

Марианна Ионова

Мэрилин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27050621

Мэрилин:

ISBN 978-5-91627-114-0

Аннотация

Ионова Марианна Борисовна – прозаик, поэт, критик. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет Университета российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Печаталась в журналах «Воздух», «Арион», «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Гвидеон». Лауреат премии «Дебют» в номинации «Эссеистика» (2011).

Вошедшие в книгу повесть и рассказы отличает камерность сюжетного пространства, конкретность деталей, сохраняющаяся при наплывах сновидческого зрения, интонация, сочетающая отстраненность и лиризм. Герои Ионовой пытаются уравновесить прошлое и настоящее, зачастую искусственно примирить их в своей жизни, дав ей таким образом смысл.

Содержание

Книга терзаний	4
Иногда словно кто-то окликает меня по имени	7
Далеко и долго	23
Журавлик	35
Мэрилин	47
Прощальные гастроли аргонавтов в Колхиде	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Марианна Ионова

Мэрилин

Книга терзаний

Если о жизни нет текстов, то и говорить об этой так называемой жизни незачем: глупо, пошло, бессмысленно. С другой стороны, бывают такие способы обращения с действительностью, что лучше б с нею никто и никак не обращался. Эта проблема может называться классически «правда и правдоподобие». А может и каким иным образом, не важно.

Важно произнести опасный термин: мимесис. Мы боимся подражания реальности, и правильно делаем: реальность настолько уже становится нереальной, что лишь авангардные способы интерпретации, казалось бы, способны ее транслировать как следует. А вот нет: просто холодное, но одновременно чувственное, лаконичное, но одновременно барочное, изысканное письмо способно произвести нечто четкое, как говорят подмосковные пацанки.

«Я встречался с девушкой – познакомились на вступительных в ФизТех. Я срезался, а она прошла. Мы переписывались, пока я был в армии, потом я вернулся, поступил в Горный, и целый год идиллия была полнейшая, пока однажды мы крупно не поссорились. Я первый раз всерьез прирев-

новал и не без повода. Она отдалилась, избегала меня, а потом я узнал от кого-то, что она собирается замуж. Нашел ее, потребовал объяснений, и тут она заявляет, что никогда не любила меня, а просто испытывала сокурсника. И он выдержал испытание с честью – теперь ведет ее в ЗАГС. Какова выдержка у обоих?»

Вот просто истории, которые рассказывает Марианна Ионова. Особая интонация – интонация констатации: интонация, превращающая описываемый мир в нечто вполне узнаваемое. Неуютное, но родное. Подлинное.

Странно, что проза в ее повествовательном, нарративном изводе вообще существует: пересказывание происходящего должно б, по идее, остаться речевым жанром, уйти в устную речь. Но вот от чего-то иногда получается: получается жить в тексте, жить с помощью текста.

«За все время в Вене они только два раза были вдвоем. Они спали на разных кроватях, через тумбочку. Юрия изводила привязавшаяся последний год бессонница, но он не вставал, чтобы упаси Бог не разбудить. Повернувшись набок, он глядел на спящую Таню, и порой та вдруг открывала глаза и лежала так минут пять, уставившись в потолок, прежде чем отвернуться к окну и вновь задышать сном».

Мне здесь ценны и важны такие платоновские почти вещи, как «задышать сном». Для меня значима эта интонация человека, знающего, как живут люди – не воспроизводящего ложные модели, досужие вымыслы, клише наконец, –

но понимающего модальность, векторность и структуру выморочной ежеминутности, того липкого и страшного, что существует между бытием и небытием, в чем мы прибываем постоянно, чего мы боимся и вне чего мы не умеем толком существовать, — хотя, возможно, и хотим прорваться в нечто более возвышенное. Ионова умеет показать эту безнадежность прорыва (повесть «Таня Блюменбаум», по мне, как раз про это).

Мы живем в эпоху расцвета поэзии, с прозой же всё несколько сложнее. Но эта книга вселяет надежду, дарит радость, терзает, как должен терзать хороший текст.

Данила Давыдов

Иногда словно кто-то окликает меня по имени

«Как же я поеду, – сказала я, – у меня же ничего с собой нет»

«А что нужно? Зубная щетка... Так мы ее в аптеке купим»

И верно, вот аптека, только я думаю: нет, не поеду, но это я для него думаю, как будто он может читать мои мысли, а самой очень хочется ехать. Мы заходим в аптеку и покупаем мне зубную щетку. А машина стоит припаркованная у тротуара – «трабант». В маленьких чешских городах до сих пор их видишь, и в восточно-немецких тоже.

Это был ранний сон, потом снилась школа, и я залезаю на подоконник и смотрю через форточку вниз, внизу почему-то река, и потом я стою ночью в Милютинском сквере и держу фотографию, по которой должна узнать Толю, потому что он вот-вот придет, а вокруг какие-то цыгане – жгут костры.

В жизни никогда ничего не происходит. Жизнь сама происходит. Происходит от меня и от Толи, и от ребят, играющих в баскетбол на баскетбольной площадке, и когда мяч ударяется о заградительную сетку, такой звук, как будто рассыпали что-то блестящее и серебрящееся, вроде рыбьей чешуи. Ребята разного возраста, постарше и белобрысые лет двенадцати, и среди них одна девочка, то есть, девушка в

длинной белой футболке, и я знаю, что ее зовут Галя. Она в белой футболке, а должна быть в коричневом платье с черным фартуком, потому что о ней рассказывал Толя, она из того Верхнего Михайловского переуллка, когда Дача Голубятня была еще детской библиотекой, а не рестораном «Граф Орлов».

Но она ведь и наполовину я.

Я часто встречаю на улице девушек, похожих на Галю: высокая и тонкая, с маленькой головкой и прямыми волосами. Туловище, или лучше по-балетному *корпус* у таких девушек всегда чуть откинут, спина прямая-прямая до прогиба в поясице, ленивые гибкие ноги. Они всегда смугловатые, с маленькими глазами и маленьким ртом.

Но Галя лучше их, потому что она настоящая, и волосы у нее не висят мертво до пояса, а разбросаны по плечам или собраны в «конский хвост».

И те девушки никогда не смеются и не кричат, а Галя смеется и кричит.

Она мне приснилась по рассказам Толи. Она однажды спасла ему жизнь, но это долгая история, которой даже я не знаю.

В баскетбол я играть не умею, и сажусь на кровати, проснувшись, и вспоминаю, как Толя сказал, что отчаянье – самое человеческое состояние. И мы еще поспорили об этом. Я потом сказала: растерянность – самое человеческое. Но я не Галя и никогда не стану ею.

Я хочу пройти сквозь жизни людей, не застревая ни в одной жизни. Как я выхожу на станции метро «Октябрьское поле» или «Первомайская», где никто и ничто меня не ждет, и хожу часами, испытывая «непривязанность» на себе, себя на неприкаянность.

Они искали 4-й Верхний Михайловский проезд, и не могли найти, потому что спрашивали *переулок*.

Мужчина и женщина. Он лет шестидесяти, темный, с впалыми щеками, на шее женская косынка в горошек, она лет сорока пяти, белесая, коренастая, одета как по-летнему для церкви: белая блузка и юбка до пят.

«Это ведь от Плющихи близко», – то ли спросила, то ли сказала женщина.

«От Шаболовки»

«Вот, – она успокоительно повернулась к мужчине, – От Шаболовки»

Он смотрел ни на нее и ни на меня, а куда-то вверх.

«Вам повезло: я живу в тех краях. Сейчас вместе сядем на «аннушку», и я с вами сойду»

Она улыбнулась вместо «спасибо», и щеки стали матово-румяными.

«Мы из Ярославля. Это мой брат. Он не говорит: связки ему вырезали. У нас тут сестра живет, только мы с детства не видались. Представляете? С детства не видались...»

Однажды ночью на Малой Калужской за нами с Толей долго шел юноша, по голосу лет восемнадцати, но на самом

деле – почему-то мне подумалось – старше. Поравнявшись, он сказал:

«Здравствуйте. Я Ангел смерти»

«Приятно познакомиться», – сказал Толя.

Я потянула его вперед, но он не прибавил шагу, и юноша все тащился рядом, пока Толя не остановился вдруг и не спросил:

«А собственно, что дальше?»

Я, повиснув у него на локте, дернула в сторону, но Толя как врос.

«Ничего», – проямлил юноша.

«Тогда вы не Ангел смерти, а барахло», – сказал Толя с таким презрением, что у меня подкосились ноги.

«...Брат в Москве родился, но давно уехал, а я так только пару раз была, давно тоже. Говорят, центр весь снесли, старину всю...»

«А у вас в Ярославле – как?»

«У нас как раньше»

Она все время показывала пальцем на что-то и говорила: «Смотри». Ее брат смотрел большими аристократическими карими глазами. Губы у него были чуть раздвинуты, словно он готовился шептать.

Мы сошли напротив 1-го Верхнего Михайловского. Я вспомнила, как встрепенулся Толя, когда первый раз провожал меня до метро и спросил, куда мне ехать: «Шаболовская»? Переспросил рывком, недоверчиво. Там рядом Верх-

ние Михайловские проезды?... Дача «Голубятня»?... Знаю эти места – у меня там... знакомые жили. Давно.

А Дачу «Голубятня» тридцать с лишним лет спустя его разочаровала, после реставрации ярко-желтая, огороженная. Толя сказал, что раньше здесь была детская библиотека. Я не сразу поняла, где, потому что смотрел он на жилой дом напротив, первый из ползущих по улице в горку. Оказалось, в «Голубятне». Место мест, прошептал он и тут же: ладно, пойдемте.

Мы тогда были знакомы полтора месяца. Друг-художник искал советские иллюстрированные журналы – для коллажа, и я подумала про «Советское фото». Нашла в интернете объявление о продаже старых номеров, списалась, он извинился: после болезни еще не может носить тяжести, договорились, что я приеду.

На нем была тельняшка с длинным рукавом и синтепоновые тренировочные штаны.

«Простите за вид, – сказал он, отступая вглубь прихожей, – после болезни десять кило слетело, нормальная одежда сидит отвратительно»

Я заверила его, что все в порядке, что по мне вид вполне приличный.

На полу аккуратными стопами были сложены фото-книги, отечественные, двадцати-, тридцатилетней давности, и номера «Советского фото».

Я опустилась на колени и стала разбирать стопы, показы-

вая, как я бережна. Из фотокниг самые новые относились к 70-м, самые старые – к 50-м. Самарканд, Ферганская долина, Памиро-Алай. Крым. Армения. Заонежье. Заладожье. Рига. Таллинн. Валаам. Суперобложки, залатанные желтым скотчем. Картонная коробка в углу была доверху полна плоскими пластиковыми коробочками. Я вынула одну такую под брюхо, как черепаху. В ней туго лежали снимки. Во всех коробочках – или позитивы, или негативы. Годы надписаны черным фломастером: 60-е, 70-е, 80-е. Малоярославец. Галич. Юрьев-Польский. Переславль-Залесский. Торжок. Коломна. Я уже потом узнала, что в Коломне он родился и жил до семнадцати лет.

«Отец вел в Коломне кружок «Фотолюбитель». Сам инженер. О фотографии знал все. Нет издания по истории, по теории, по практике, чтобы у нас в былые годы на полке не стояло. Альбомы опять же... Отец денег на это не жалел. Обо-жал ездить в турпоездки по старым русским городам – всегда с «Лейкой»...»

«И все продаете? И книги? И снимки?»

«Книги – да, а снимки-то кому нужны? Просто хранилось вместе»

Он прочел это мое «неужели не жаль?» и произнес как-то мягко, баюкая:

«Деньги нужны позарез. Назанимал на лечение»

«А альбомы... Альбомы-то точно возьмут в букинистическом!»

«Давайте-ка лучше чай пить», – сказал он, надев улыбку.

За стеклом серванта стояли открытка и фото. Открытка была с репродукцией фрески Джотто «Проповедь св. Франциска птицам». А снимок – не черно-белый даже, а серо-желтый, вырезанный из книги или журнала тридцати, сорокалетней давности и наклеенный на плотную бумагу. Юная гимнастка в черном трико подпрыгнула и будто зависла на «шпагате».

К чаю он подал черный хлеб, сыр и кусковой сахар прямо в коробке. Больше, кажется, по обязанности хозяина спросил, профессиональный ли у меня интерес к фотографии. Я ответила что нет, и что филолог. Он спросил, кем я работаю, и я ответила, что преподаю русский и литературу в десятом и одиннадцатом классах. И он расспрашивал, районная школа или какая-нибудь «спец», и какие ребята достались, и я сказала, что ребята – первый сорт, насмешив нас почему-то.

«Я в школе преподавал, – сказал он, – Недолго. Биологию. С шестого по восьмой класс, – и, не переводя взгляд, не меняя тон, – А вы любите фотографию?»

«Фотография больше, чем живопись, знает о смерти», – сказала я.

Он отставил чашку и стал глядеть на меня сквозь прищур. Это тянулось и тянулось, я не понимала, и мне уже стало больно, когда он тихо спросил:

«А вы – что знаете?»

И вдруг словно отпустил меня, откинулся на спинку стула

и заговорил, словно рассеянно и словно вглядываясь куда-то:

«Когда был таким, как ваш «первый сорт», мечтал стать архитектором, поступал в МАРХИ, но провалил тригонометрию. Пришлось отслужить на флоте, сперва на Дальнем Востоке, потом еще полгода в Крыму. Тогда я впервые и увидел птиц»

Это было похоже на концовку рассказа, или так говорят о злой и светлой женщине: завиднелись брови и углы рта.

«И знаете, птица более всего птица, когда она ходит. Птица, когда она летит и когда ходит – это два разных животных».

«Помните у Рембо, про альбатроса?»

«Да, – он как-то небрежно кивнул (подумала: стихотворения не знает), – главное, что птица на земле двунога. Как мы. Птицы при ходьбе похожи на нас. Вот только мы не похожи на ходящих по земле птиц»

Он засмеялся, без сарказма, просто.

«И я сдуру решил, что раз так, должен жизнь посвятить изучению пернатых. Подал документы на биофак МГУ, на вечерний, чтобы хоть какой-то был шанс. И прошел. Устроился гардеробщиком в кинотеатр «Победа», пару лет бесплатно смотрел все, что шло на советском экране, до тошноты. Потом уже подвизался лаборантом на кафедре. Хотел с третьего курса свалить, но совесть удержала. В итоге – специалист по птицам Средней полосы, – он опять засмеялся, почти с облегчением, – А в «перестройку» выучился на сле-

саря. Видели внизу вывеску «Металлоремонт»? Последние двадцать лет там работаю»

Я купила все «Советское фото» и альбом «Самарканд».

На лестничной площадке я обернулась и сказала: спасибо. Мне показалось, что он поспешно затворил дверь.

Во дворе дома мальчик лет девяти сильно раскачивался на качелях и, задрав голову, и пел: «Разлука ты разлука, чужая сторона...». Он пел хорошо. «Зачем нам разлучаться, / зачем в разлуке жить? / Не лучше ль обвенчаться / и друг друга любить?». Я остановилась и слушала, не понимая, зачем эта песня мальчику.

А Верхние Михайловские – место мест, негромкое, как старая школа, как лист на влажной земле. Перепелочный кирпич, для рабочих строили, и спокойные, справные дома шагом идут на пригорок. Радостный всхлип качелей. Девочка, бегущая из кирпичного дома в кирпичную школу, из осени в осень, и прибегающая домой, и поднимающаяся на свой четвертый этаж, и глядящая из окна за шторой.

Как-то мы шли в Нескучный сад мимо Донского монастыря, и я сказала: чем дальше осень, тем стволы деревьев темнее, а когда листва уже вся-вся желтая, они просто черные; так обычно рисуют дети красками, когда велено изобразить «осень», и взрослым кажется, что это для красоты, ради сочетания желтого и черного. А Толя сказал, что летний свет придает всему объем, стереоскопичность, а зима – плоская картинка, и чем ближе к зиме, тем плосче. Там, *внутри* де-

ревьев, то есть, среди них – как Царство Божие *внутри* нас, то есть, среди нас – есть источник света, свое Царство, но только летнее, а зимой деревья стоят порознь, в пустоте.

Они с Галей любили музей Ферсмана, а вот палеонтологический – нет, но в обоих поняли трогательность, они казались заброшенными, брошенными в первобытные лопухи, две огромные старые теплицы. Галя называла их старыми чудаками: ну разве может *настоящий* музей выходить в парк, глядеть на столы для пинг-понга. В музее Ферсмана Толя больше нравились сами минералы, а Гале – изделия из них, вроде пресс-папье с почти живыми ягодами из цветных камней.

Они сидели на скамейке у Чайного домика в Нескучном саду, Галя подняла указательный палец, и на него тут же спикировала синица. Толя пришел в восторг, а Галя сказала с обидой: знаешь, как это больно?

Неизвестно, кто построил Дачу «Голубятню». Галя видела ее из окна, но за книжками туда уже не ходила, была записана в районную взрослую.

Я обернулась на оклик: женщина семенила ко мне, то маша рукой, то прижимая ее к сердцу. Брат отставал, не торопился.

«Ох!... Представляете – не нашли. Витя говорит, это не четверка в письме, а единица...»

Брат ее ткнул пальцем в тетрадный лист, лиловатый и прозрачный от клеток, и издал слабый то ли посвист, то ли ше-

лест. Я заглянула: и впрямь единица, 1-й Верхний Михайловский.

«Позвоните ей на мобильный»

«Звонила! Абонент недоступен. Ну и не надо беспокоить: мы ведь как сюрприз хотели. Галина все зазывала, да то дела, то случаи, а теперь вроде как осчастливим!»

И смеется, и лицо больше не жалкое, и белая блузка пахнет какими-то вырезными голубями, коньками, подзорами и наличниками, и огородами, и Ярославским кремлем.

Мы поднимаемся на пригорок. Здесь, в Верхних Михайловских, лучше бы им было застать октябрь. Нигде так не пахнет землей, как в октябре, а небо еще сухое, и асфальт как гравировочная пластина.

«Они с Галиной мне сводные. Мама с их отцом развелась, Витьку взяла и к родителям в Ярославль уехала. Там годика через два опять замуж вышла и меня родила. Вот, а Галя – у отца и его *новой*. Мачеха хорошая: в художественную гимнастику ее отдала. Галина у нас мастер спорта, по миру поехала, выступала. Личная жизнь, конечно, вся побоку... А мама меня когда первый раз привезла с сестрой знакомиться, приезжаем – а тетя Надя, Галинина мачеха, руки заламывает, дядя Сережа тоже весь чернее тучи: сбежала Галька. В шестнадцать лет. Со взрослым парнем, совершеннолетним. Сама через неделю вернулась. Я этого ничего не помню, помню только, что суетились все, мама плакала. Мама потом рассказывала, когда мне уже можно было. Дядя Сережа шум

поднимать не стал. Вроде так все обошлось...»

Ее брат кивал, глядя под ноги.

«Витя тогда уже был женат. Помнишь, Вить, ты все соби-
рался кого-то в Москве натравить на того парня – помнишь?
Бог пронес... Ой, а тут же ведь Донской монастырь?!»

«Да, вот он, прямо перед вами»

«Я все монастыри в Москве знаю! У меня книжка, такая
хорошая – батюшка дал!»

Ее глаза любят меня, Москву, батюшку, 1-й Верхний Ми-
хайловский. Я смотрю на косынку вокруг Витиной шеи.



То, что ты принимаешь за тоску, чаще всего что-то другое.

В день рождения Пушкина на Пушкинской площади
устроили книжный развал. Торговали старыми книгами за
«дорого», по большей части мужчины пенсионного возраста,
иногда моложе, все в замасленных рубашках, с пропащими
полуулыбками или мрачные. Это оно меня высмотрело, а не
я его – «Москва-Петушки», первое издание, с бутылками на
обложке. Я взяла, и из книжки выпало старое черно-белое
фото: пустынная местность, горизонт, посередине торчит ка-
кая-то будка, не то землянка.

«Это Владивосток», – сказал продавец из «мрачных», не
дожидаясь вопроса, и убрал фото за пазуху.

Не убегай от тоски. Потому что она не хищник, который

тебя преследует, а собака, которая трусит рядом. Загляни ей в глаза, потрепи по холке. Скажи ей: ты моя собака, я люблю тебя.

Толя приподнялся и поцеловал меня.

«Ты мечтаешь о счастье, – сказал он однажды и улыбнулся совсем как продавец с книжной барахолки, будто сразу увидел счастье в виде чего-то маленького, – Это придет. Всем выпадает немного счастья»

«Не хочу никуда лететь, – сказала я, – Хочу сидеть на твоей ладони»

Он с чем-то возился за кухонным столом, черные от смазки пальцы перебирали детали, как будто лепили из пластилина. Попросил подать отвертку, и я вложила ему в руку.

«Галя до сих пор живет там, в 1-м Верхнем Михайловском проезде, напротив Дачи Голубятни, – сказала я, – Я узнала: она до сих пор живет там»

Отвертка крутилась быстро-быстро, а я догадалась, что это у него: дверной замок.

«Да что ты говоришь», – сказал Толя.

Я смотрела на белую ребристую ручку в масляных пальцах.

«Мне вчера приснилось, будто ты куда-то едешь и зовешь меня с собой. У тебя во сне был «трабант». Смех, правда?»

Ручка отвертки лоснилась и переливалась, а Толя вытер пальцы ветошью, долго мыл руки и тер щеточкой ногти, и мы сели пить чай.

Он не позвонил ни через день, ни через два, а потом прошла неделя. И я не звонила.

Как-то днем я шла по Малой Калужской, кто-то сзади поздоровался, и я узнала голос.

«Здравствуйте, – сказал он, обогнав меня, – я Синяя Птица Счастья. Исполню одно ваше заветное желание»

«Пусть Толя вернется», – попросила я.

Он стоял передо мной, хлипкий, сутулый, большеголовый и длиннорукий, в очках, с темным «ежиком», и пальцы его – указательный и средний – на обеих руках были скрещены, как плоскогубцы.

«Пусть Толя вернется», – сказала я и пошла вперед быстро, стараясь не побежать.

На задворках, куда выходит «Металлоремонт», живет молодая собака, черно-пегая, легкая, похожая на шакала. Она робко выбегает откуда-то, почуяв человека, чтобы тут же отскочить. Она всех боится, кроме Толи, который ее прикармливает.

Мне бывает жаль, отчего мы с Толей познакомились не так, что вот я принесла бы ему сюда на починку сломанный зонтик. Вот я бы вошла и сначала попала бы на Толиного помощника Макса, который с отличием окончил ПТУ, и Толя им гордится, но я бы не знала, что это Макс, и просто поздоровалась бы, выложив перед ним зонтик. И Макс зычно позвал бы, повернув только толстую шею, и то чуть-чуть, а туловище оставив как есть: «Анатолий Алексеич!...». Толя

вышел бы в своем сизом халате, и Макс шмыгнул бы носом: «Для вас работа». Толя молча взял бы невесомый зонтик, как берут что-то тяжелое, отошел бы с ним в сторону, стал бы разглядывать и вдруг открыл бы, точно выстрелил, судорожно сморгнув.

«Анатолий Алексеич!...», – позвал Макс.

Толя вышел, увидел меня и сразу сказал:

«Пойди пока в «стекляшку» у метро, выпей чаю – я через сорок минут заканчиваю»

Я не пошла в кафетерий, а сорок минут гуляла по району. Потом я испугалась, что он пойдет за мной в «стекляшку», и мы разминемся, и заспешила туда, и правда еле успела. Толя стоял внутри и озирался. Я подождала несколько секунду у него за спиной, потом коснулась его локтя. Он как-то неуклюже развернулся, как проворачивается сломанный замок.

Я сказала:

«Я вчера в Нескучном саду кормила белку. Ты замечал, что белка горбата, когда сидит? Знаешь, у нее такой продолговатый хрупкий горбик – как детская рука в варежке»

Толя сказал:

«Все мелкие звери хрупки и некрасивы вблизи»

«А птицы, – сказала я, – птицы красивы»

«Птицы красивы», – согласился Толя.

В жизни никогда ничего не происходит. Жизнь сама происходит. От маленького чешского города, залитого огромным и несводимым пятном заката. От трамвайной улицы

где-то бы то ни было, от любой улицы, пущенной под откос к реке. От меня и от Толи. Господи, мы же твои дети, а улицы — наши дети.

Иногда кто-то словно окликает меня по имени: Галя.

Клеенчатый алый плащ с клетчатой подкладкой, зеленые резиновые сапоги, букет кленовых листьев, рыже-коричневый портфель. А вот школа, и голубь переходит трамвайные пути. Только скажи мне, где ты, где мы, и я потеку туда горючим трамваем.

В каком Верхнем Михайловском, в каком октябре.

Москва, август 2012

Далеко и долго

А.Т.

И все еще надеюсь оказаться когда-нибудь там, где буду счастлива.

Это будет однажды, а до этого надо молчать. Молчать значит жить. Значит, жить так, как дают, что дают, сколько дают. А потом коломенская радуга.

Там я буду я и только, а это место как будто ждало меня, как ждали меня две вазы с полевыми цветами, закипевший только что самовар, старая фарфоровая чашка и сочник на блюде. Два окна на два угла, и две вазы: в одной вазе васильки, в другой васильки вперемишку с иван-да-марьей и мелкими ромашками.

Поворот на осень, и светофор у поворота – конец августа; с утра солнечно, потом день серый и зябкий, а вечером опять солнце; голубь прямо перед ногами, наперерез, и вдруг откуда-то из-под мыслей, из глубины: «Дитя».

Грозовой солнечный день – выйдешь на балкон, и там за горизонтом, в самой пронзительной платиновой грозе, в самой бесконечной Москве, есть места, где я еще не бывала, и как бы ни дразнило платиной и розовым кварцем, всего не объять, но даже и они, те места, уже внутри меня.

Путешествие за любовью. Так исходить все районы, все

московские дали, поля, чащобы, и все окрестности, одиночным и одиноким походом. Я скитаюсь и странствую троллейбусом, метро, электричкой (скитаться не от слова ли «скит»), я еду в Коломну, потому что еще не все, еще не конец, но дальше уже нельзя. Как это называется, когда дальше уже нельзя, но еще не все? Темно-голубой дом с наличниками цвета молочного шоколада? С Преображения до Успения. Исчезнуть раньше, чем пропадешь.

Когда-то слово «желанный» на Руси значило совсем не то, что значит теперь. «Мой желанный», – говорила его мама вместо «мой дорогой». Город кончился, город себя изжил, и опять все желанное.

«Будто не уезжал», – говорит Желанный, и горлом я чую трепетную горчинку от вида сложенной, наконец, сошедшейся створами гармонии.

Я исчезла или пропала? Дом почти на Оке.

Станция «Голутвин». Выхожу здесь впервые, ищу глазами и нахожу, он не окликает, не машет; я нахожу – улыбается, он меня увидел сразу. Он увидел, он нашел, он и ждет. Для меня самовар (хотя какой самовар – электрочайник), мытый пол, сегодняшний сочник, две вазы, мохнатые от цветов, лопнувшие цветами. Вечером будет топиться печь. Вечером будет гроза.

Толя берет мой рюкзак.

«Ну? Трамваем или автобусом?»

Его мать не дожила полгода до девяностолетия. Послед-

ние года четыре стала все хуже видеть, и ей помогал Николай. Откуда он взялся, Николай? Приехал помогать, когда реставрировали церковь. Приехал с одной холщовой сумкой, а пока помогал, жил у Толиной матери. Дом на Уманской улице, в центре, она продала, купила у самой Оки, с огородами. Церковь восстановили, Николай исчез, вернулся спустя три месяца – и купил дом по соседству, полусгнивший, приплюснутый, вылитая хибара. Бывшая его хозяйка и подруга дознавалась: из каких краев, кто родители, откуда деньги, как дальше... Деньги – продал городскую квартиру (опять же, какой город?), родители – научные работники, дальше – уже устроился кассиром в супермаркет, а еще будет выращивать помидоры (опять же, почему помидоры?). И выращивал, и покупали у него его помидоры, как у Толиной мамы – сезонные цветы.

Когда она умерла, Николай и послал телеграмму Толе; Толя потом говорил: «Первая телеграмма на мое имя за последние лет тридцать». На похороны он не попал, потому что еще отходил после операции, а приехал через полтора месяца, и Николай встречал его на станции, а в доме ждал только что закипевший самовар, т.е. белый, как чайка, электрочайник, и две вазы с цветами. И миска помидоров.

«Трамваем», – по-детски заказываю я.

«Напомни, когда ты здесь была в первый раз?...»

Я была здесь позапрошлой весной с родителями. Тогда жасмин цвел и яблони, между прочим. А теперь над забора-

ми и под заборами яблоки: сама розовая ясность, сама прозелень утра в жестяных и эмалированных ведрах. Яблоки делаются из ненадышенных ранних утр. Яблоки охлаждают лето. Мы едем по улице Суворова и сходим на пересечении с Окским проспектом, где тот мелеет. Опять же, мелос. Преображение – завтра, выпало на воскресенье.

«Не могу жить без трамваев», – сжимаю Толину руку – страшно, как однажды придется без них.

В доме пахнут мытые половицы, сильно, как орошенные цветы на базаре. Тюль на окнах, кактусы-лампочки, самодельные стол и стулья, выкрашенные, той же, что и наличники, масляной краской, один в углу кондовый гарнитурный стул с «шишаками», блекло-гладкий, как пластмассовый буфет из 60-х и оттуда же по-настоящему пластмассовый абажур над столом – шляпкой груздя, бордовый кожаный диван, неприветливо тугой и низкий. Все от матери. Даже Николай. Вот он по-рыцарски на одном колене перед печью, складывает поленницей прелестные чурбачки.

Николай моложе меня, но выглядит старше. Я люблю его свежим, твердым лицом – яблоко на срезе. Волосы аккуратно отпущены, как у школьника-битла. Не подмосковный: длинный, кареглазый, и воздух вокруг него мягкий, и все движения как обернутые пуховым платком. Поднимется, сует мне ладонь.

«Во, подготовились», – подбородком показывает в глубину комнаты, а там тазы и корзины с яблоками.

«Анатолий Алексеич все норовит падалицы, а я говорю: трясти надо, не лениться!»

Толе смешно от усталости, он садится на диван, и я рядом. Николай мечет на стол целлофановые кули конфет, зачем-то быстро, быстро; говорит: «Побежал. На великах до грозы покатаемся?» – и слетает с крыльца.

«Чур, я сплю на полатах», – говорю я.

«Там пылица. Что ты вдруг? Раскладушка всю ночь в саду проветривалась. Смотри лучше, какой пир – гроза в воздухе»

Пир. Блеск приборов, атласное сияние скатерти. Толин стол обит клеенкой с изображением строгих продовольственных товаров.

Свет глазуревый, влажный, свет наливной непролитыми до праздника «наливами» и грушовками. Чего хочет от меня гроза? Половицы – слез, иван-да-марья – безумия, а чего хочет от меня гроза? Танца с русским платочком, китайским текстилем?

Я еще никогда не умирала в Коломне. Я еще никогда не праздновала и не улыбалась в Коломне, не засыпала под яблоки, не слышала, как они молятся и поют, и говорят предсмертно: желанный, желанная.

«А букеты составлял Николай?» – спрашиваю я.

«Нет», – отвечает Толя.

И светит нам хемингуэйевский самовар из сказки. И печь смотрит на нас.

Через час подкатил свой «Урал» к крыльцу Николай. Я на «Туристе», выезжаем и машем, а вдогонку: «Чтобы только успели...!». Двое худосочных, незадачливых пацанов.

Словно разминаем со сна педали, косолапим на великах по глинистому песку вниз к Оке. Едем вдоль берега, и я все дергаю шею вправо, откуда чайки. Николай на полметра впереди, но ему кажется, что я, неместная, еде плетусь, или что надо перекрывать голосом чаек, хотя они как-то грустны и вежливы. И он почти кричит, маяча красной бейсболкой: Анатолий Алексеич все время где-то шатается, а с его ногой ведь нельзя, и ему здорово нужны какие-нибудь «дисциплинирующие куры», огород и сад – «не то». Да и огородом и садом надо заниматься больше, надо растить на продажу, потому что деньги от квартиры быстро кончатся, Николай по себе знает, а весь ремонт металлических изделий тут у кавказцев, они чужого не пустят.

...Поедем по улице Октябрьской Революции в центр, через весь город, к улицам Яна Грунта и Арбатской, к Кремлю. А гроза – что ж такого: укроемся, переждем в Николаевом супермаркете, где сегодня у него выходной, или в какой-нибудь чебуречной-хинкальной.

Мы слезаем перед узкой косой, и с нее надсадно блеснит всеми перьями-блеснами ива, и так же вода, и распаханное облако, но уже не пир, то есть, пир, но мы где-то у края стола.

«Не, – Николай жмурится, – Не поедем. Не надо. Далеко и долго»

Чуть подалее купаются, гомоня, но бревно на пологом склоне свободно, и мы садимся, точно в амфитеатре с единственной уцелевшей скамьей. И как я взглядывала на чаек, так взглядываю на лицо под дурашливым «клювом».

Толя говорил, что Николай не общается с ровесниками, зато «коллективный внук Окского района».

«У тебя есть друзья?»

«Мне с пожилыми интересно, – отвечает он, кажется, привычно, – И с Анатолией Алексеичем. Он и хоть не пожилой, но, понимаешь, негромкий...»

«А ребята, девушки...?»

«Да нет, – не сразу и как-то морщится, – Понимаешь... Они меня приглашают, а там пить надо, и все через час уже бухие в дым... Даже девушки. Знаешь, я тут каждую неделю пьяных девчонок вижу, и школьниц, и прямо семи-, восьми-классниц! А я же не пью. Я как выпью немножко, у меня через какое-то время судороги. Я, наверное, не очень здоров. Но я понял: если не пьешь, большие трудности с общением...»

«Знаю»

«Что, тоже не пьющая?»

«Нет»

«Из-за здоровья?»

«Не совсем»

«Ты уж точно не нажиралась в восьмом классе, да?» - он не спрашивает, а широко улыбается, и мне кажется, что слегка

свысока.

Они долетают до нас и поворачивают назад к воде, а по воде медленно бежит моторка, это про нее сказано «бороздит». Разве южные моря что-то там бороздит, что-то желанное и рассветное.

Мальчик «Орленком» бороздит наши борозды на песке.

«Как раз в восьмом меня напоили. Ребята постарше. Мне было четырнадцать, а им лет по восемнадцать, трое. Трахать не трахали, но заставили сделать им... С тех пор не могу алкоголь. Даже родители не знают, ты первый. Тогда я решила считать, что это была не я. Но это была я, потому что я помню...»

«Нет, нет, – Николай категорично мотает «клювом», – Все брехня, что мы чего-то там помним. Это была не ты, в чем и суть. Ты – это ты, ты здесь, эта ива – ты, и Ока – ты, и бревно, на котором мы сидим... И чайки. И яблоки – это ты»

...А грозы так и не было. Сухо мелькнула молния, ждали, вот сейчас застучит и не застучало.

«В ночь прольется», – немного презрительно обещает Толя, мол, от нас не уйдет.

Ночью проснулась от дождя и от дождя уснула.

Толя еще сидит у окон, два его голубых лица и четыре вазы с цветами.

Далеко отсюда в Москве огонек на банковском шпиле многоэтажного здания из стекла и каркаса краснеет для небесных колумбовых каравелл, бороздящих немое небо.

«Иногда я чувствую, что больше здесь не могу», — он сглаживает.

Слышно, как что-то беззвучное всколыхнуло ветер и сдуло первые листья. Наши мечты скрипят мачтами над Окой.

Если бархатная московская каравелла прилетит этой ночью за нами, кто утром пойдет святить яблоки?

Я еще никогда ничего не святила в Коломне.

Яблочная толкотня женщин на паперти, солнце и благовест колотят по ведам. Что-то скромное и суетное, что-то родное, рыночное, с веселой слезой, просторная толкотня, иван-да-марья косынок. Яблоки здороваются и пихаются, а потом, маленькие, удивленные, ждут на ступенях. Сейчас бабушка выйдет и махнет кропилом, и точно смех во все стороны. И как они не взметнутся из корзин и ведерок на хозяйские руки, как не забьются крепенькими сердцами, как не мигнет, не исчезнет, не перегорит на миг.

Мы с Толей почти волочем по земле спортивную сумку. Отец Владимир рассказывает Николаю, аллегорией осени обнимающему эмалированный таз:

«Спрашиваю ее: «Какой сегодня праздник?». Она бойко так: «Яблочный Спас!». А я ей: «Пре-о-бра-жение Господне!...». А она глазами хлопает...»

«Николай непременно станет святым», — говорю я.

«Ну, до этого еще далеко», — выжимает Толя, ему вообще-то нельзя с ногой...

«Далеко и долго», — говорю я.

Днем тазы и ножи, вечером трехлитровые банки – Николай пойдет на рекорд, чистые – на варенье, тронутые – на повидло. Толя полулежит на диване, упираясь спиной в стенку и вытянув ноги. Я обвожу взглядом комнату и вдруг вижу, как неуютно ей в чистоте.

На подоконнике лежит ссохшаяся косточка абрикоса, выбеленная, как и положено кости, но не до белизны, то есть до белизны, только теплой, цвета стен южной крепости. Каким ветром сюда занесло абрикосы? Рядом деревянная катушка без ниток, тоже обглоданная, похудевшая и почти бело-палевая.

Николай выходит за мной, обгоняет, заглядывает в лицо, сжимает мое запястье.

«Ты приезжай чаще. А то он тут один, как перс»

«Как кто?»

«Как перс»

Я сажусь на «Турист» и еду через весь город, повторяя из проповеди: *все мы призваны к, все мы призваны к*. На Арбатскую и на улицу Яна Грунта, и на берег Москвы-реки, за которым Казанский вокзал.

Яблоки вдоль заборов притягивают грозу. Если быстро крутишь педали, видишь радугу от ведра до ведра. Мальчик и девочка идут взявшись за руки, нет, за корзину. Все желанное, не взрезанное до праздника. И один желанней другого, загораются огни на реке.

«До Успения обещают грозы, – говорит Толя, – Хочешь,

съездим в Бобренов монастырь?»

Да, хочу. Давай съездим. А потом уедем отсюда вместе. Продадим этот дом, все равно ты вырос не здесь. Будешь жить у меня, я могу переехать к родителям или где-нибудь снять, хоть угол. А хочешь, оформим дарение, я тебе подарю жилплощадь, а сама перееду к родителям или угол сниму? Но вообще у меня две комнаты, из окна одной видно многоэтажное офисное здание, там на крыше реклама банка и шпиль-игла, и как только стемнеет, загораются буквы и огонек иглы, и к нему слетаются бархатные, беззвучные каравеллы. Они подолгу висят, покачиваясь, будто беседуют нараспев. Они видны в любую погоду. Они всегда остаются, когда нет уже ничего. Они не предадут и не позавидуют, в них не выстрелишь, язык не повернется послать им проклятие. Они ждут свои команды, когда-то уволившиеся на берег, лет тридцать или триста назад.

Но они никого не зовут. И я не зову тебя. Только лишь предлагаю: давай уедем. Все мы призваны к Преображению, а какое преображение здесь, где так много яблок и самовар все никак не остынет, пусть и нет самовара, и нет ухвата у печки, и нет вышитых Алконостов.

И я все еще надеюсь. И буду долго, как в песне, гнать велосипед «Турист». Мы возьмем в охапку твои букеты и, проезжая какую-нибудь лесистую станцию, бросим их из окна электрички, будто махнем кропилом, как отец Владимир на яблоки с их хозяйками.

Давай, а? До Успения обещают грозы, а мы смоемся, смоемся еще раньше брызгами кропила наотмашь. Все равно гроза полетит за нами, брошенная своей командой. Все равно увяжется, бархатная, беззвучная. А в карманах у нас будет по яблоку.

*

Москва, август-сентябрь 2012

Журавлик

Как только вошел, сразу открыл форточку, потому что скопилась тишина. И пыль. Я сел на подоконник и сидел минут десять.

Цветы в вазе за полгода почернели и раскрошились, очень похоже на пепел от бумаги. Пахло воздухом, и еще со двора тянуло гнильцой. На секунду я забыл, октябрь сейчас или апрель – они почти одинаково пахнут.

Я сидел, пока не стал мерзнуть. И не закрывал форточку, потому что во дворе перекликались за уборкой листьев киргизы.

Думал позвонить Ольге, но вспомнил, что пять дней назад по телефону сказал, когда буду в Москве. Перед отъездом был уговор друг другу не навязываться, и мне тогда показалось, что речь идет обо мне.

Ольга хорошая, но не такая хорошая, как ты сейчас, потому что ты спишь.

Вечером зашел Паша сверху. На нем были трусы, майка и лыжная шапочка.

«Ты спортсмен и я спортсмен, – сказал он, – Дай полтинник»

Паша и не заметил, что меня полгода не было.

Я дал ему сотню, чтобы хватило на две, как он это называет, «пробежки» до аптеки за настойкой боярышника, хотя

его передвижение даже ходьбой назвать трудно. Ты осуждаешь меня, но не дал бы я, Паша вынул бы душу вместе со всей дворничьей зарплатой из безотказного киргиза.

Паша сообщил, что 51-ю квартиру сняли.

«Вот как? И кто?»

«Креативный класс», – ответил Паша, подумав.

Это ничего не значило: тот мог просто не дать Паше полтинник.

Вскоре я увидел нового соседа: мы вместе поднялись в лифте. Лет сорока пяти, плотный, ухоженный. Да, интересный, если для тебя это важно. Меня он заметно сторонился, понимал, что заметно, и нервничал из-за этого еще заметнее.

Я всегда, как приеду из экспедиции, избавляюсь от хлама, который особенно нестерпим на свежий глаз. Ненужные книги решил положить на подоконник между этажами – вдруг кто польстится, и, спускаясь по лестнице, почти столкнулся с молодой женщиной, даже девушкой. Вернее, это ты в меня не врезалась, хотя спешить тебе было некуда, верно?

Я положил книги и развернулся. Девушка стояла на площадке, привалившись спиной и затылком к стене и глядя вверх, в одну точку. Будто она устала от подъема и теперь собирается с силами. Худая. Тускловатые-правильные черты, небольшие глаза. Русые волосы собраны в «балетный» пучок. Извини, но ты ведь не станешь доказывать, что ты красавица. Я и Милу не находил красивой, хотя глаза и волосы – большие и яркие.

Дальше ты знаешь: я спросил девушку, кто ей нужен. Девушка смутилась, вышла из ступора и пробормотала «Да так...» — и тут же назвала имя с фамилией, как я сразу понял, моего нового соседа. Только я прикинул, могу ли дать ей какие-нибудь достоверные сведения, как она дернулась с места, сделала два широких шага к его двери и стукнула растопыренной ладонью по кнопке звонка.

Тут словно кто-то шепнул мне: бежать, и я начал спуск по лестнице, но пролета через два понял, что веду себя как идиот и стал подниматься.

На площадке уже никого не было. Они стояли в прихожей: из-за двери смутно слышались голоса.

Я вошел к себе, а чтобы наверняка ничего не разобрать, открыл в кухне кран на полную и стал мыть раковину. Вскоре заболела поясница, и я пошел в комнату лечь.

Идя через прихожую, услышал-таки:

«Ты с самого начала придумала, будто у нас какое-то понимание без слов...!»

«Но ты сам говорил...! Ты сказал, что любишь меня!»

Зачем-то я остановился. Она несколько раз повторила эту фразу, «ты сказал, что любишь меня», с одинаковой интонацией, и каждый раз будто впервые.

Не успел я лечь на тахту, как соседская дверь хлопнула. Я прикрыл глаза, но не пролежал и минуты, встал и пошел в прихожую.

Не было шагов вниз по лестнице. Я приотворил дверь.

Точно: ты стояла посреди лестничной площадки как вкопанная. Ты была так напряжена, что казалось, тебя можно сложить в несколько раз как столярную линейку. Руки прижаты к телу «по швам», пальцы топорщатся. Ты стояла, задрав лицо и зажмурившись, с открытым ртом. Если бы кто-то сейчас только появился на площадке, он подумал бы, что тебе очень хорошо. И тут из тебя пошли звуки – короткие выкрики, даже не очень громкие, вроде птичьих. Ты как будто пробивалась толчками: «А, а, а, а... А, а, а, а...». Хриловато, словно сорванным голосом. А на конце каждого выкрика – вопрос. Или детское, невыносимое удивление. И радость, такая чистая, смешная.

Он, видно, ждал под дверью, когда ты уйдешь, потому что выскочил, схватил тебя и распорядился: «Скорую, живо».

Я подошел и сказал:

«Никакой скорой, уберите руки. Уберите руки, вам говорю»

Я разжал его хватку и выковырнул тебя, подтолкнул к своей квартире, и ты безропотно вошла со мной.

Я усадил тебя на кушетку в комнате и заметил слезу, которая натекала за крыло носа, и вытер ее согнутым пальцем.

Ты сидела и раскачивалась, прижав ко рту кулак. Не горбилась, не комкалась, а наоборот, будто закидывала себя вверх, и лоб был расправлен.

Я пошел на кухню и поставил чайник. Чайник вскипел почти сразу, я сыпанул растворимого кофе в кружку, залил ки-

пятком, кинул туда кусок сахара и пошел открывать, потому что звонок орал уже полминуты.

«Послушайте, что бы она вам там не плела, имейте в виду, что у нее истерия!...»

Я захлопнул дверь перед черным банным халатом, надевшим поверх белой рубашки.

Ты сидела уже спокойно, опустив плечи, отвернувшись к окну. Глаза даже успели высохнуть.

«Мне страшно, – сказала ты, – И холодно»

Я поднес тебе кружку и проследил, чтобы взяла как следует.

«Зачем теперь жить?» – спросила ты.

«Чтобы научиться жить не зачем»

Окно было распахнуто, и со двора, из чьей-то машины, неслась шуточная песня, герой которой мечтает бросить все и укатить на *Лимпомпо*. Ты стала подпевать, улыбаясь в себя, нет, скалясь, изнуренно, робко. Я тоже улыбнулся, и у тебя вылетел теплый уже смешок.

«Когда с человеком истерика, он во всем отдает себе отчет, но остановиться не может. Извините, пожалуйста»

«Вам не за что извиняться»

Ты сжимала растопыренными пальцами кружку, почти окунув в нее нос, но было ясно, что пить ты не собираешься. Ты глядела поверх пара, как бы вспоминая что-то, и глаза то сощуривались, то стекленели.

«Я боялась этого. Но думала, что то, чего боишься, навер-

няка не произойдет»

«Бывает и так. Бывает и по-другому»

Пальцы, тонкие и красные, массировали кружку.

«Меня лет с восемнадцати преследовал вопрос «зачем». Как будто такая специальная птица летает за мной по пятам, садится на ветку над головой... Вроде ворона у По. А потом я встретила *его*, и птица больше не прилетала. Он пригласил меня к себе в аспирантуру. Сказал, что мне надо непременно остаться на кафедре, и мы будем вместе вести спецкурс... – вдруг ты чуть вскинулась, – Между нами ничего не было. Поэтому я боялась. Верила ему, но боялась. И все равно... И все равно...»

Ты распрямилась и покашляла, как бы призывая себя быть сдержаннее.

«Я заходила проститься. Послезавтра он возвращается в Канаду, он большую часть года проводит в Торонто, преподает...»

«Послушайте, неужели вы думаете, что там у него никого нет?»

«Там у него семья, я знаю, – сказала ты чуть ли не бодро, – Но это совсем другое...»

Ты в три глотка осушила кружку и протянула мне, выкинув руку, как дети выкидывают, говоря «на».

«Можно я посплю?» – спросила уже неповоротливым голосом, и лицо сразу осоловело.

«Спите», – сказал я.

И, как если б я произнес заклинание, тут же подогнула под себя ноги и из положения сидя медленно завалилась набок. Я разул тебя и накрыл пледом, но сначала взял за лодыжки и разогнул ноги, потому что спать клубком вредно. А чулки у тебя продраны на больших пальцах, но меня это не задело, даже как-то наоборот.

Я взял тебя за лодыжки и вдруг увидел танцкласс: Мила разминается, сидя на полу, тянет мысок, потом трет ступни в пуантах. Они словно окоченели двумя полумесяцами или скобками. Почему меня туда пустили? Мила гуляла со мной по воскресеньям, а в воскресенье, само собой, никаких занятий не было.

Помню, на пустыре: Мила привела меня туда, оставила у края, отбежала ближе к середине и исполнила несколько па.

Помню, как она прыгнула. Помню, как подол платья расплющился тарелкой, а под ним две тонкие ноги, и обожгли воздух белые короткие носочки. Эти носочки без опоры, навсегда зависшие, навсегда сверкнувшие, – вот, что было самым невероятным.

Она никогда не была замужем. В тридцать с чем-то вышла на пенсию и устроилась во Дворец пионеров. Потом вела ритмику в детском саду.

Милой ее звали дома, и представлялась она только так, и в крещении приняла имя Людмила, а по паспорту – Каридад, Милосердие. Наш отец назвал ее в честь своей матери. Он испанец, из тех детей, если ты понимаешь. Ему было уже

тринадцать, так что испанский он не забыл, а по-русски говорил хоть и без ошибок, но с акцентом. Что не помешало ему стать отличным ученым и полжизни провести в геофизических экспедициях, как я теперь.

Кажется, ты проспишь до утра. Лишь бы никто не стал тебя разыскивать по мобильному... Это ведь я тебе рассказываю вовсе не потому, что пучок у тебя Милин, «вагановский». Ты правильно сделала, что уснула, а вот я не догадался. Мила говорила: когда тебе плохо, пой и танцуй. Она как-то обмолвилась, а может, открыла по секрету, что на уроке и на репетиции всегда напевает себе под нос.

Я встречался с девушкой – познакомились на вступительных в ФизТех. Я срезался, а она прошла. Мы переписывались, пока я был в армии, потом я вернулся, поступил в Горный, и целый год идиллия была полнейшая, пока однажды мы крупно не поссорились. Я первый раз всерьез приревновал и не без повода. Она отдалилась, избегала меня, а потом я узнал от кого-то, что она собирается замуж. Нашел ее, потребовал объяснений, и тут она заявляет, что никогда не любила меня, а просто испытывала сокурсника. И он выдержал испытание с честью – теперь ведет ее в ЗАГС. Какова выдержка у обоих?

А у меня ее не оказалось, выдержки, потому что я сразу лег и уснул. Ты поймаешь меня на слове: я ведь только что сказал, что не догадался заснуть, как ты, но в том-то и суть. Ты проспишь часов двенадцать, резко сядешь на тахте, отка-

жешься от кофе, наскоро поблагодаришь меня, стараясь не пересечься взглядами, и уйдешь, и ни к чему тебе вспоминать, как ты тихо кричала свое «а». Я, правда, считаю, что ни к чему. Так все будет, потому что именно так и было, ты сама помнишь.

Ее звали Таня.

Я уснул совсем не так, как ты, в чем и суть. А там познакомился с одним парнем, своим ровесником, по имени Валя; он был художник, а туда, где мы оба находились, его поместили родители, потому что им не нравилось, как он пишет, им бы хотелось, чтобы он писал по-другому.

Меня выписали через два с половиной месяца, а Валя остался. Мы тут же встретились с Юрой, и Юра рассказала мне про свою бабушку. Все произошло почти одновременно: родители упрятали Вальку, Таня сказала, что никогда не любила меня, и Юрина бабушка, которая на двенадцать лет подарила Юре удочку и научила его рыбачить, она теперь уходила из дома и терялась, а потом перестала узнавать Юру.

Мне было ясно, что перекошена какая-то главная ось. И я вспомнил про тысячу журавликов японской девочки. Ты, небось, не знаешь, но любой советский человек, разбуди его среди ночи, расскажет историю японской девочки, которая была больна лучевой болезнью после Хиросимы, а есть такая легенда у японцев, что если сделаешь тысячу бумажных журавликов, исполнится твое самое заветное желание. Девочка так мечтала излечиться, что поверила в это... Слышала, да?

Ну, вот. Мы понятия не имели, как эти журавлики делаются. Юра раздобыл Бог весть как, в Институте восточных языков, что ли, японский детский журнал, где было про оригами, и мы засели как проклятые.

Чуть позже к нам присоединилась Мила. Что нужно было исправить ей? Она говорила, что с тех пор как встретила Христа, ни в чем не нуждается, даже в балете. И действительно, дождалась своих тридцати, как обещала маме, и на следующий же день уволилась из Большого. Вот и спрашивается: что нужно было исправить ей? Или о себе она вообще не помышляла...

Можешь не верить, но я подумал, что если двое студентов Горного института и балерина будут днем и ночью делать из бумаги журавликов, возможно, мир тоже включится в эту игру, и тогда, если мы доберем до тысячи, что-нибудь произойдет – например, закроются все психушки в Союзе. Только делать надо непременно с молитвой, сказала Мила. Она принесла Евангелие, помню, без переплета, со старой орфографией. Я открыл и прочел: *Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу.*

Бумаги не хватало, но в ход шла упаковка, газеты, старые учебники. Все равно мы сделали только четыреста двадцать шесть, поэтому Таня вернулась, но на время, и Вальку через

месяц выпустили тоже на время, а Юрина бабушка жила еще год и за час до смерти вдруг узнала Юру, из всех родственников – его одного.

Что мы сделали с журавликами? Мила сказала, что их ни в коем случае нельзя сжигать. Мы с Юрой закопали их ночью в саду имени Баумана.

Вот ты просыпаешься и видишь меня сидящего на подоконнике, и сразу уводишь взгляд, и с вымученной улыбкой отказываешься от кофе и от чая. Щуплая, бледная, прямая, ты сама бумажный журавлик, и мне жаль, что я не сохранил одного из четырехсот двадцати шести, чтобы он ждал меня на окне, пока я в экспедиции.

Я вспоминаю про Ольгу, очень хочется позвонить, и я уже как-то нетерпеливо провожаю тебя до двери. Подаю тебе пальто, ты не глядя промахиваешься мимо рукавов, пока, наконец, я не беру твой локоть и не завожу руку в рукав.

Я набираю Ольге, но меня тянет посмотреть в «глазок», потому что я не слышал шагов по лестнице. Ты стоишь на лестничной площадке, плечами и пучком к 51-й квартире. Я жду, я знаю, что ты уйдешь: ни к чему тебе там стоять. И ты уходишь, когда я вдруг осознаю, что Ольга давно говорит мне что-то, говорит, говорит и вот-вот заплачет.

А того журавлика, единственного из четырехсот двадцати шести, я, вероятно, замел бы с хламом после очередного возвращения.

Ольга зачем-то плачет. Я смотрю в окно: ты стоишь у

подъезда, на скамейке лежит Паша, и дворники-киргизы
сгребли огромную копну листьев.

Москва, август 2012

Мэрилин

Она только успела подумать, что он смотрит так, будто хочет что-то сказать, как человек в замусоленном длинном черном пальто шагнул к ней, заставив ее попятиться и толкнуть кого-то, выкатывавшего из супермаркета тележку.

«Простите, ради Бога... Я два дня ничего не ел...»

Он был высокий, жилистый, побуревший до багровости (но не вспухлый лицом: наоборот, кожа гладко обтягивала скулы), с глубоко сидящими, маленькими ярко-голубыми глазами, волосами, примятыми назад; широкий лоб лоснился так же, как засаленные отвороты пальто. Он не надвигался, как обычно те, кто просит, и глядел вбок, но Валя чувствовала нажим по касательной.

От него самого не пахло – только от пальто, сухо, заскорузлой грязью.

«Давайте сделаем вот как, – сказала Валя, – Мы с вами сейчас зайдем в магазин. Я дам вам свой кошелек и буду ждать в предбаннике. Вы купите, что захотите, но только в пределах тысячи рублей, иначе уже мне придется не есть два дня, а на выходе кошелек вернете. Хорошо?»

Он тупо кивнул и не сразу пошел за Валею, пару раз подымавшей его, точно собаку. Она недолго ждала. От растерянности, очевидно, он купил только гроздь бананов, йогурты и консервы – что смог взять в охапку. Вале пришлось лезть за

кошельком в карман его пальто. Затем она подставила пакет со своими продуктами, и он разжал объятия.

«Все равно мы зайдем ко мне — я живу неподалеку. Вам необходимо привезти себя в порядок. Помыться... Я что-нибудь приготовлю...»

Он смотрел на нее то ли с опаской, то ли с упреком, то ли с жалостью. Вернее, на нее смотрел кто-то новый, не тот, который извинялся за свой голод, брал у нее деньги и прижимал к себе смехотворную еду. Валя опустила глаза, потому что уже не он стоял перед ней, а она перед ним.

«Вы это... на самом деле?» — спросил он почти шепотом.

«А что тут такого?» — сказала Валя, как провинившаяся.

«Вы не издеваетесь?» — продолжал издеваться он.

Валя готова была заплакать, но тут он стал суетливо и нежно просить прощения, хотел взять у Вали пакет (она не дала) и потом пошел за ней, как будто нарочно чуть отставая и с невыносимой благодарностью на нее взглядывая.

По пути Валя занимала спутника разговором.

«Вы простите, я, наверное, вас травмировала с этой тысячей, когда сказал, что не смогу есть два дня. Я вовсе не бедствую. Просто я тщательно рассчитываю бюджет. Знаете, я экономлю не на качестве, а на количестве. Сейчас у меня такой непростой период в жизни... Мне материально помогают родители. Они недалеко живут. А брат еще ближе. Вот, как я планирую свой бюджет... Сегодня воскресенье. Я рассчитала, что если всю неделю питаться только овсянкой, лапшой

и черным хлебом, то можно позволить себе потратиться на бельгийский горький шоколад, а часть денег отложить в резервный фонд для покупки книг. Мне нужны книги. Я же не смотрю телевизор!»

У подъезда он опять замялся, тогда Валя подошла и тронула локтем той руки, которую занимала ноша, его локоть.

«Вы святая», – сказал он обреченно.

«Не знаю. Может быть»

На лестничной клетке он стал озиаться и как будто думал сбежать. Валя сделала вид, что не замечает. Ей не хотелось выглядеть настырной.

Валя сразу прошла с пакетом на кухню. Гость прирос к коврику у порога, точно наказанный, не позволяя себе осмотреться, недоверчиво держа взгляд при себе, как держал у груди еду. Валя встала посреди прихожей, опустив и сцепив руки.

«Давайте знакомиться, – сказала она мягко и немного педагогически, – Меня зовут Валя»

«Алексей... Алексеевич»

«Очень приятно, Алексей Алексеевич. Сейчас я дам вам таз, куда вы положите вашу одежду перед тем, как пойти в душ. Только у меня, извините, совсем нет мужских вещей!. Но я знаю, как мы этот момент уладим. Извините, я слишком командую?»

Алексей Алексеевич помотал головой. Его все прочнееющая скованность мучила Валью.

Она села к телефону и набрала номер, перед этим жестом отправив гостя в ванную.

«Алло, Миша, привет; ты не очень занят в ближайшее время? Дело срочное. Понимаешь, у меня тут один опустившийся... или поправший в трудные обстоятельства... интеллигентный человек... Его одежда совершенно вне кондиции. Может, у тебя найдутся какие-нибудь ненужные, но в хорошем состоянии вещи? Ты не мог бы подвезти? Только поскорее, потому что он как раз сейчас моется. Алло? Миша?...»

«Так и думал. Опять обострение. Права была врачиха Кузнецова: рано, рано давать испытательный срок! Но отца с матерью разве проймешь... Гони его, дура, слышишь, гони...!»

Валя положила трубку. Она пошла на кухню и поставила разогреваться в микроволновку лоток с готовой лапшой, затем встала у двери ванной.

«Можете взять большое полотенце! Если вы не брезгуете...!»

Она только не вывернула гардероб наизнанку в поисках мало-мальски подходящего покрова, пока слово не привело ее к диванному покрывалу. Валя помнила, где и как они с мамой покупали его, хотя ей было тогда лет девять. Мама тогда немного бредила расцветкой «под леопарда». Взвалив на себя покрывало, Валя опять подошла к двери ванной и дождалась, когда оборвется шум.

«В одежде вам одним вредным человеком отказано, но ес-

ли вы не возражаете, вот покрывало завернуться – не беспокойтесь, оно недавно из химчистки. Вы ведь ничего против леопардов не имеете?»

Рука высунулась по запястье, после чего покрывало исчезало в щелке пятно за пятном.

Казалось, Алексей Алексеевич остался или очень хотел бы остаться наедине с тарелкой: пригнулся к ней, почти в нее спрятался, одной рукой обхватив себя поперек туловища, чтобы не дай Бог не сползло покрывало, накинутое, как индейский плед. Жевать беззвучно он старался до перекачивания желваков, до выбухания жил на шее, в которую, как и в уши, неуспех методично накачивал краску. С некоторой задержкой поняв, что причина в ней, Валя вышла из кухни.

Алексей Алексеевич ел медленно. Валя успела загрузить его одежду в стиральную машину, а ветхое пальто без труда разорвала на несколько кусков и спустила в мусоропровод. Когда она под села за стол, тарелка была пуста; тем не менее, мышцы, которым едва ли шло название щек, исправно двигались.

«Что-нибудь еще?»

«Спасибо, я сыт», – он проглотил, но глаза не поднял.

Валя придвинула стул к торцу стола (не напротив!), села и, выверив тон так, чтобы в нем не было ни «меда», ни протокольности, произнесла:

«Расскажите о себе»

Он испуганно отодвинул тарелку. Глаза его заморгали и

низко над столом забегали.

«Я... Я... Я инженер. Живу в Самаре. Сейчас без работы. Временно. Приехал... приехал к бывшей жене... погостить. А они не пустили. Вот, я в троллейбусе уснул, просыпаюсь – а бумажника нет. А там все деньги и документы. Вот, и как быть... И как быть....»

«Алексей Алексеевич, – Валя поколебалась между ласковостью и твердостью и выбрала первое, – Алексей Алексеевич... Вы не стесняйтесь. Я дам вам в долг, на дорогу. А когда вернетесь... Как устроитесь на работу...»

Но он уже отчаянно мотал головой, побагровевший теперь до бронзы и от мрачности как-то подурневший.

Валя убрала тарелку.

«Чаю? Против зеленого не возражаете? Ну, что ж... Знаете, это ведь несколько меня не ущемило бы, ну только самую малость. Знаете, я вами горжусь. Вы знаете, вы...! Вы по-настоящему благородный человек. По-настоящему, понимаете?»

Алексей Алексеевич еще ниже склонился над тарелкой и глубже вдвинулся в покрывало.

«И я вот, о чем подумала... Вы ведь, судя по всему, одинокий? И вы, наверное, очень давно не были с... Обходились без женского тепла. Знаете, вы ведь все равно останетесь на ночь – ваши вещи раньше не высохнут. И я подумала... Если хотите... Я могла бы подарить вам свое тело. Его, конечно, не назовешь красивым... Зато я никогда не была с мужчи-

ной, если для вас это имеет значение... Извините, за интимный вопрос... Вы верующий человек?»

В дверь позвонили.

«Прошу прощения, – сказала Валя, – Это, наверное, мог брат с одеждой для вас»

Миша ступил за порог, задев Валю клетчатой «челночной» сумкой. Словно по чутью, он сразу прошел на кухню, вытряхнул на пол что-то вроде джинсов и свитера и со словами «одевайтесь и выметайтесь» вернулся в прихожую.

«А белье?» – спросила Валя.

Миша больно оттянул ей кончик носа. На кухне Алексей Алексеевич закопошился, и Вале вдруг отчего-то стало противно.

«Опять сдвиг по фазе, да? Как только ты за эти полгода жива осталась – видно, Бог и впрямь дураков хранит»

«Ты же агностик», – сказала Таня сквозь выщипнутые слезы.

Алексей Алексеевич боком пробрался к двери.

«Извините, я выбросила ваше пальто. Я думала...»

Алексей Алексеевич схватил свои кроссовки без шнурков (с обувью ничего Валя не успела придумать) и юркнул за дверь. Валя дернулась, но Миша зафиксировал ее, стиснув плечи.

«Я предложила ему деньги в долг, и представляешь: не взял! – говорила Валя, когда они вдвоем чистили ванну, – А потом я предложила ему в дар свое тело...»

«Чего?!...»

«...В дар свое тело. Он такой благородный и, видимо, целомудренный человек... Мне кажется, его это смутило. Конечно, мое предложение не из тривиальных... Но я просто не знала, что еще могу для него сделать. Конечно, здесь лучше подошла бы более опытная...»

«Во-первых, я уверен, что он первый парень на Павелецком вокзале, – Миша с каким-то озлоблением, с каким и драил ванну, стер пот со лба, – А во-вторых, у него наверняка нет с собой презервативов»

«Я позвонила бы тебе! Разве ты бы не выручил?»

Миша бросил губку и засмеялся, Валя, не очень понимая, засмеялась вслед. Они смеялись долго, мучительно, стоя на коленях и свесившись через край ванны, не в силах продолжить работу.

Потом Миша ушел, а перед тем по его настоянию было сожжено в мойке банное полотенце.

*

Прощальные гастроли аргонавтов в Колхиде

Они давали спектакль про Дон Кихота, а привела нас Анастасия Эдуардовна, это был шестой класс. Кто *они*? Помню несусветную роскошь парадной лестницы, витражи, панно с фигурами на потолке... Восторг жадности: ярче, громче, тяжелее. Взрослая нетерпимая царственность, а потом – скромный актовый зал. Наверное, скромный, потому что я совсем его не запомнила, только двух актеров на сцене без декораций. И не верится, могло ли так быть, чтобы после дворцовых залов вдруг – тесная сцена, бледно-коричневатая, как стеллажи на почте или библиотечные, как доска объявлений. Рыцарь в черном и в вязаной облегающей шапочке вместо таза-шлема, оруженосец – кажется, в желто-красном, а голова обмотана полотенцем, как у комика от мигрени... Точно во сне, где был дворцовый зал, а стала твоя комната или школьный класс.

Да ведь верно: актовый зал был нашей школы, там они повторили спектакль, а первый раз играли прямо в Готическом зале! Сцена – ковер, на нем стояли почему-то в носках; ну, понятно: костюмной обуви у них не было, хотя и остальная одежда вся современная, но как бы «никакая».

Черные носки Кихота.

Стояли? Именно, что стояли: спектакль, видимо, шел не дольше часа, и одни разговоры; Дон Кихот, слегка задрав настоящую бородку, слегка запрокинувшись, рука на поясе, обращается к Санчо; тот полуприсел, все время как-то в раскоряку и озадачен, разводит ладонями. Дон Кихот философствует почти нараспев, Санчо возбужденно бубнит, иногда Кихот длинной рукой притягивает его к себе, и оба смеются с гримасами плача. Взрослые так смеются, когда у них что-то не клеится.

Мне кажется, они что-то вспоминают, Кихот и Санчо. У них что-то не клеится, и они вспоминают. После смеха Санчо вытирает пальцем слезу, Кихот «прыскает» беззвучно, кадык ходит, плечи приподняты, смотрит чуть исподлобья; сейчас я вижу его как интеллигентного парня, рассказывавшего скабрезный, но тонкий анекдот. Потом опять «театр», Кихот проводит рукой дугу (указывает на звездное небо?), потом Санчо садится на ковер, достает что-то съестное и начинает жевать. Кихот опускается рядом, одна нога согнута в колене, на колене балансирует кисть, покачивается локоть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.